

МАРЬЯНА РОМАНОВА

БОЛОТО

ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ОТ МАСТЕРА УЖАСОВ



Страшные истории Марьяны Романовой

Марьяна Романова

Болото

«Издательство АСТ»

2015

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Романова М.

Болото / М. Романова — «Издательство АСТ»,
2015 — (Страшные истории Марьяны Романовой)

ISBN 978-5-17-136018-4

Говорят, на севере России есть лес, куда никогда не заходят люди. Большую его часть занимает топкое болото – один неверный шаг, и нет тебе спасения. Разные слухи о том болоте ходят, но из уст в уста веками передается только один: если бросить в чавкающую грязь младенца, которому еще не исполнилось трех лет, то поглотит его топь, но в течение трех дней он может возвратиться, только вот человеком больше не будет, а станет полубогом. «Болото» – очень страшная книга. Текст и сам затягивает как топь – оторваться невозможно. Но на ночь эту книгу лучше не читать.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-136018-4

© Романова М., 2015
© Издательство АСТ, 2015

Содержание

Пролог	6
Глава 1	9
Глава 2	16
Глава 3	22
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Марьяна Романова

Болото

© Марьяна Романова

© ООО «Издательство АСТ»

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Пролог

Среди лесов дремучих Архангельской области есть чащоба, которую местные за три версты обходят, избегая даже смотреть на застывшее войско вековых деревьев, обнявших друг друга артритными лапами и словно охраняющих темный секрет. И приезжих местные сразу же предупреждают: лес прячет во чреве своем болото гиблое, на многие километры растянувшееся. О топи той и в летописях древних упоминается – сколько жизней она унесла, сколько костей человеческих ее бездонная тягучая жижа прячет.

Коварно лесное болото – кажется, что на кочку земляную ступаешь, а она вдруг из-под ног уходит, и тянет, тянет вниз голодная зыбучая земля. Черная вода подгнивающей ряской зашторена, и ядовито ее дыхание – кто испарений того болота вдохнет, тому другой мир открывается в обморочных видениях. Поэтому приезжих предостерегают – даже к кромке чащи той подходить не стоит. Бывало и такое, что ветер швырнет в лицо зазевавшегося путника пригоршню воздуха болотного, затхлого, грибницей и перегноем пахнущего, и тот вдруг уходит в чащу, словно что-то или кто-то манит его из глубин леса, зовет к себе.

Разные слухи о том жутком болоте ходят, но из уст в уста веками передается только один: если бросить в чавкающую грязь младенца, которому еще не исполнилось трех лет, то поглотит его голодная зыбучая земля, но в течение трех дней он может возвратиться, только вот человеком больше не будет, а станет полубогом. В былые времена матери сами отводили туда своих детей, и говорят, некоторые ребятишки даже возвращались обратно.

* * *

Были времена – много колдовок жило по забытым богом деревушкам. И молодые среди них встречались, и старухи ветхие. Старые ведьмы брали в обучение юных девушек – не всех, а в ком слабый пульс Силы чуяли. Впрочем, в ученицы к карге никто не рвался – судьба у них была трудная, всю жизнь в одиночестве куковали, а жили долго, до времени, пока на их спине горб не вырастал, а в дыхании появлялся едва уловимый запах плесени, пока ноги не начинали отниматься.

Считалось, что колдовка не может на тот свет отправиться, пока Силу свою кому-нибудь не передаст. Если у кого была ученица, дар переходил к ней, и вместе с ним – вся нажитая маета и чернота. Остальным же приходилось идти на хитрости. Поэтому чем старше ведьма становилась, тем меньше людей было вокруг нее – все старались обходить ее дом стороной, боялись, что она разжалобит, подманит и ремесло черное вместе с прилагающейся к нему незавидной своею судьбою передаст. «Дай мне, доченька, водицы напиться!» – слабым голосом просит старушка, такая крошечная, иссохшая, несчастная. Сердобольная девушка несется к ней с ковшиком, но старухе на воду плевать, хоть она не пила и не ела три дня, другая напасть ее гложет. Девку за руку схватит, да так крепко держит, что не вырвешься. В глаза посмотрит, и у девушки сначала голова кружится, и колени ватными становятся, но потом, уже выйдя из ведьмино дома, она чувствует странный прилив сил. Позже она поймет, что натворила, но никто ей не сможет помочь, и теперь ей только и останется, что ремеслу колдовскому учиться, чтобы Силу под контролем держать.

Поэтому матери настрого наказывали дочерям: если позовет тебя какая старуха, ни за что к ней не подходи. Беги быстрее, словно ты ничего и не слышала. А совесть будет мучить – так ты ее души и топи. Потому что у ведьмы, которая тебя обмануть пыталась, вовсе нет совести.

Рассказывали даже об одной девице, которой родители запретили подходить к собственной бабушке, когда та стала стара и слаба. Бабушка ее воспитывала, растила, ближе матери

родной была. Девочка, конечно, понимала, чем старуха занимается – то в поле пойдет росу утреннюю собирать, то серпом медным полынь косит, то по кладбищу часами шляется, хотя нет там ни одной родной ей могилы. Но бабушка ее от Силы берегла, никогда в дела свои не вмешивала, и даже на вопросы любопытные не отвечала.

И вот пришло время ей помирать – ноги носить перестали, а тело – пищу принимать. Родная дочь той старухи знала, что при смерти ведьма должна ремесло кому-то вручить – поэтому и заперла свою мать в дальней комнате, и еду ей подавала через окно, так что старуха при желании дотянуться до нее не могла.

Плохо было бабушке, тяжело она уходила. Сначала все плакала – скулит так, что сердце на части рвется. Внучку звала: «На кого же ты меня оставила... Мне пить хочется, мне тепла родного хочется. Разве бы я тебе голодной позволила лежать?.. А ты меня бросила...» Потом разум ее помутился – металась по кровати, подушку изгрызла, утробным голосом кукарекала и мяукала, как будто бы душа ее уже пребывала в аду, но тело все еще цеплялось за землю.

Внучка и сама исхудала от тоски за те дни, но мать пристально следила, чтобы та к бабке не пошла. Так и померла старая колдовка от жажды и голода. Но говорят, из могилы ее еще долго по ночам доносился неприятный скрип, как будто бы кто-то ногтями доски царапает.

Страшно многие такие старухи уходили – неделями лежали в одиночестве, ни воды никто не подает, ни постель не поменяет, а дух все в теле, уже больше похожем на скелет, держится.

К нашему времени все они повымерли почти. Современные колдовки не чета тем, кто давно в гробах спит. Сила – она внимания требует, а сейчас в доме каждой деревенской старухи телевизор имеется, а у кого-то – даже Интернет. Внимание утекает во внешний мир, Сила развеивается.

Разными бывают колдовки. Кто-то занимается только травами. Знает, в какой день и в какой час следует их срезать, чтобы получались из них зелья сильные. Таких старух сторонятся меньше, потому что, как правило, они всю деревню лечат – и с зубами больными к ним идут, и с костями поломанными. Ходили слухи об одной травнице, которая заговаривать уродство умела. К ней съезжались невзрачные девицы со всех окрестных областей. Старуха их три дня травами оморачивала, свечи над их головой самодельные жгла, бормотала что-то, и выходили они из ее дома красавицами. То есть, внешность, вроде бы, оставалась той же самой, но что-то такое появлялось – в голосе, взгляде, манере поворачивать голову – что мужчины начинали с ума от них сходить.

Были колдовки кладбищенские – самые сильные, но и самые несчастные. Смерть у таких обычно страшная была. Ну да почти все они с самого начала знали, на что идут. С мертвой силой шутики плохи, пока ты телом и духом крепка – держишь ее, как поводья норовистой лошади, а потом дряхлеешь, и она тебя сжирает, крутит тобою, пока в пепел не обратит. У каждой такой ведьмы «свое» кладбище было, и «свои» могилки рабочие. С мертвецами они как с живыми общались – и подарки им на день рождения и день смерти на могилу принесут, и поговорят ласково, и сорняки выдернут из земли могильной.

Один сторож кладбищенский рассказывал: мол, какая женщина хорошая к погосту прибилась – видно, больно ей смотреть на забытые чужие могилы. Придет, уберется, оградку выкрасит, водочку поставит. А однажды он проснулся среди ночи и показалось ему, кто-то между могил гуляет. Подошел тихонечко и увидел: та женщина, в длинном черном платье и вуали черной, воткнула в могильный холмик две свечи черные, две фотографии. Там же и кольца обручальные лежат, и голубка белая в клетке мается.

Женщина молитву венчальную вполголоса нараспев прочла, потом голубку из клетки вынула, но вместо того, чтобы в небо ее отпустить, как на свадьбах часто делают, голову ей одним ударом ножа отхватила. И полилась на могилу птичья кровь. Сторож смотрел на это из-за деревьев и крестился, ни жив ни мертв от страха. А женщина его не заметила – свечи, фотографии и мертвого голубя аккуратно в пакетик собрала и пошла прочь.

Были и те колдовки, которые с чертями работали. Черта разными способами позвать можно. И картами игральными – особенно теми, которыми убийцы время коротали, поэтому многие старухи готовы были дорого у арестантов колоды выкупить. Можно в ночь к церкви прийти, семь раз против часовой стрелки обойти, слова запретные пришептывая. Иные на печенье, на крови своей замешанное, черта прикармливают.

Говорят, чтобы Силу получить, нужно выбрать такую ночь, чтобы полнолуние совпало с понедельником, пойти на лесной перекресток и написать самому хозяину преисподней послание – вручаю, мол, тебе тело мое и душу в обмен на Силу колдовскую. Листок этот следует кровью из безымянного пальца правой руки запечатать, а потом сжечь, причем с собою у будущей невесты дьявольской должна быть только единственная спичка – если затушит ее ветер, и не займется пламя, значит, не принял девушку темный жених.

* * *

Старая женщина ступала осторожно как канатоходец, каждый шаг мог стать ее смертью, потому сначала она нащупывала ногой очередную кочку, осторожно вдавливая в нее носок резинового сапога и только потом переносила на ногу вес. Она шла медленно, и она была одна, а вокруг – только лес, пастельно-зеленый, нежный, осторожный, каким он бывает в начале мая. В руках ее была корзинка, прикрытая мятой тряпкой, и если бы кто-то встретил старуху, удивился бы, потому что в начале мая в лесу нечего собирать. Разве что крапиву на суп, да ее и в поле полно, зачем ради этого углубляться в чащу, которая прячет в своем сердце вязкие топи.

Она углублялась в лес, и земля становилась все более мягкой и как будто бы оживала. Земля была похожа на чудовище, которому даже не требуется выслеживать и ловить жертву, потому что силы неравны. Она почти подошла к краю Болота, почва здесь была склизкой и шаткой, каждый шаг старухи она встречала утробным причмокиванием, внутри нее что-то бурлило и сглатывало. Как будто бы под этой пахнущей перегнившими водорослями жижей сидело бесформенное чудовище с алчущим мягким ртом.

Женщине было не по себе. Ей всегда было не по себе, когда она приближалась к Болоту.

И вот когда ее сапоги увязли в черной жиже почти по самое голенище, она остановилась. Дальше идти нельзя. Дальше идти – это смерть.

Она нагнулась, вытянула руку и поставила корзинку на влажную землю, которая будто бы открыла неожиданному дару объятия. И начала заглатывать его, медленно, как удав проталкивает в глотку пойманную жертву. Когда корзинка почти была поглощена коричневой жижей, старуха откинула тряпки и в последний раз взглянула на то, что в корзине находилось. Взглянула с интересом и как будто бы прикидывая – получится или нет?

А в корзинке был младенец.

Младенцу исполнилось несколько часов от роду, у него было красноватое сморщенное личико, и он еще пока больше принадлежал миру теней, чем миру людей. Он еще никогда не видел обращенной к нему улыбки, над ним никогда не склонялось чье-то лицо, у него даже имени еще не было. Зачем давать имя тому, кого сразу же унесут, накрытого тряпками, в лес?

Корзинка погружалась в топь все быстрее, она накренилась, и через край потекла бурая грязь, пачкая светлое одеяльце.

Ребенок даже не проснулся.

Глава 1

Жили-были Гензель и Грета.

Оба уже не были детьми, но какая разница. Главное, что они были костью в горле родителям, еще слишком молодым, чтобы нести этот крест.

Гензель в свои неполные двенадцать был как Маугли, но только если бы фильм о Маугли снял Тим Бертон. Ему всего несколько месяцев было, когда врачи развели руками: мол, будет дурачком, и ничего нельзя изменить. Они, конечно, выразились не так, они сказали: «он другой», но Грета, которой тогда было уже пять лет, сразу поняла, что они имеют в виду. Правда, когда она уточнила у матери: «А наш Сашенька что, правда дурачок и таким навсегда останется?», та отвесила ей неожиданную затрещину. И Грета убежала рыдать под письменный стол отца, это было ее место силы. Потому что мать надеялась, что Гензель поправится. Водила к нему и врачей, и педагогов, и даже однажды какую-то мрачную старуху в шали, воняющей козлом, которая размахивала над головой несчастного церковной свечой и угомонилась, только когда тот, точным собачьим движением вывернув шею, укусил ее за руку, до крови.

– Это бесы, – зло сказала старуха, зажимая рану шалью и отказавшись от перекиси водорода. – В вашем сыне бесы сидят, и если их не выгнать, они его изнутри сожрут.

Мать, естественно, выгнала не бесов, а старуху.

Водянистые глаза Гензеля были как будто бы пленкой подернуты. У мертвых птиц такие глаза. Как будто бы он все время смотрел только внутрь себя. Он никогда не разговаривал и никогда не смотрел никому в глаза. К нему нельзя было подходить близко. Еду мать оставляла на пороге его комнаты, которую он никогда не покидал. Иногда он разрешал отвести его в ванную и поставить под струю воды. Он мог так стоять четыре или пять часов, за это время мать отмывала и проветривала его комнату, меняла постельное белье.

Гензель был страшным. Все делали вид, что его любят. «Сашу надо принимать таким, как он есть», – говорила, вымученно улыбаясь, мать. Но любить его, и тем более принимать, было очень сложно. Ни у одного из них не хватало на это души.

Он часами сидел на корточках, повернувшись лицом в угол, и раскачивался из стороны в сторону. А иногда начинал издавать странные звуки – как будто бы грудной младенец, пробуя мир на вкус и удивляющийся собственному голосу. Он говорил: «Та-та-та-та-та» или «ра-ра-ра-ра» – то растягивая звуки, как будто бы пел, то уподобляясь пулеметной очереди, и это продолжалось часами. Иногда ночью. Гензель не видел разницы между ночью и днем.

Грета с самого детства боялась, что однажды ночью брат выйдет из своей комнаты, возьмет в кухне мясной нож, подкрадется к ее постели и будет терпеливо ждать, когда она откроет глаза. Нет, он не убьет ее во сне. Почему-то ей так казалось. Он дождетя ее страха, он захочет, чтобы она понимала. Иногда ей было так страшно, что она не спала всю ночь.

Сколько раз она просила мать:

– Запри его.

Но та всегда отвечала:

– Мой сын – не животное. Я не могу запереть его. Понимаешь – просто не могу. Это не по-человечески. И прекрати говорить глупости – он вообще ни разу в жизни не выходил. И никогда не выйдет.

Мать никогда бы не поверила Грете, если бы та рассказала, что Гензель однажды все-таки вышел из своей комнаты – и все было именно так, как в самом дурном из ее страшных снов. Это случилось под утро, в конце зимы. У все еще пышного снега был уже запах марта, хотя стояли холода. У открытой форточки спалось крепко и сладко, и Грета никогда не проснулась бы, если бы Гензель не подошел. Люди всегда чувствуют на себе чужой взгляд – это необъяснимый феномен. Она в полудреме открыла глаза, повернулась и подскочила, задохнувшись и

не сразу поверив, что это происходит наяву. Гензель редко поднимался на ноги. Он предпочитал передвигаться на четвереньках, и делал это быстро, как животное. Иногда Грета смотрела, как он ползет к тарелке с едой, которую оставляли у порога его комнаты, и ей казалось: сейчас прыгнет. У него была такая координация, что нетрудно было поверить в возможность прыжка.

А теперь он стоял, стоял на ногах, над ее кроватью. Стоял и смотрел. И ведь ничего плохого не сделал, но это было страшнее, чем увидеть отрубленную голову в дверном «глазке». Грета с подружками любили страшные истории – иногда после школы собирались у кого-нибудь, наглухо занавешивали окна и рассказывали. И ей почему-то особенно запомнилась история про отрубленную голову.

Одной девочке позвонили в дверь, она подошла, заглянула в глазок и увидела своего отца. Отец как отец, только лицо какое-то странно непроницаемое, как будто чужое. Девочка на всякий случай спросила: «Пап, ты?» Но отец ничего ей не ответил. И она почувствовала, что не надо открывать. Ей было очень страшно, и время от времени она подкрадывалась к двери, и в «глазке» видела отца. Он так и стоял под дверью, и выражение его лица не менялось. И вот уже ночь прошла, и девочка наконец решилась – отворила дверь осторожно. И увидела шест, на который была надета голова ее отца, и записку: «Молодец, осторожная!».

Глупая история, так, нервы пощекотать. Черный гробик уже в твоём городе, черный гробик уже на твоей улице. Но Грете запомнилось. И вот стоявший над кроватью брат был намного страшнее. И главное – она не знала, что делать.

До Гензеля нельзя было дотрагиваться – одно прикосновение могло дать начало многочасовой истерике. Он потом до утра бы голосил, и соседи стучали бы по батарее, а утром пришел бы мрачный участковый с советом сдать наконец Гензеля в специализированный интернат. Поэтому Грета просто села на кровати, подтянула колени к груди и обняла их, как нуждающегося в защите младенца.

Что он мог сделать ей? Ребенок, просто больной ребенок. Она старше, умнее, сильнее физически. Но эта неведомая реальность, в которой он жил, этот его темный мир, в котором строили города из спичек, передвигались на четвереньках и часами смотрели в стену, все это было намного сильнее и страшнее нее. Он был в другой системе координат, он мог все. Грета потеряла счет времени. Страх растягивает время. Может быть, брат стоял у ее кровати несколько минут, но ей казалось, что ее поместили в вечность, как бабочку под стекло.

В итоге ничего страшного не случилось. В какой-то момент у него словно ноги ослабели – Гензель рухнул на пол и быстро уполз к себе, а Грета до рассвета обнимала колени и плакала. Она бы никогда не решилась рассказать матери. Но несколькими днями позже Грета купила на карманные деньги туристический нож. И каждую ночь клала его под подушку. Она вовсе не была уверена, что, случись ужасное, она сможет ударить ножом брата. Но так было спокойнее. Как будто бы у нее появился ангел-хранитель.

Два года назад на свет появился Мишенька, еще один братик, тихий и улыбчивый. Грета удивилась – до того, как начал расти живот ее матери, она и вообразить не могла, что между родителями все еще случается близость.

Но он появился – ангел божий, смешной, с пахнущей молоком макушкой и крошечными обезьяньими ручками. Грета смотрела на него, трех дней от роду, и думала о том, что в невинности есть что-то торжественное. Вот он сейчас спит у матери на руках, и его личико словно репетирует эмоции, о которых он пока не имеет никакого представления. Безмятежность, тревога, настороженность, брезгливость, гнев, скорбь. Что-то такое, что досталось ему в наследство от небытия, из которого он был явлен.

Вначале было слово. «Иди сюда», – сказал отец матери, притянув ее за талию тем привычным, лишенным волнения и страсти, движением, какими приглашают друг друга к близости те, чья жизнь под одной крышей измеряется десятками весен. А через сорок недель после

той ночи, которая обоим ничем особенным не запомнилась, озарилась светом тьма над бездною – в родильном отделении одной из московских больниц раздался первый крик Мишеньки.

Грета тогда написала в своем фейсбуке: «У меня, кажется, депрессия». На самом деле ей было страшно, что новый братик будет таким же, как Гензель. Что она боялась одного, а теперь ее судьба – бояться двоих. Как будто бы дома живет не одно чудовище, а стая. Одно чудовище ты еще можешь переиграть, подавить, стая же порвет тебя на кусочки. Она даже не пошла встречать из роддома мать, за что та обиделась и неделю с ней не разговаривала.

Но Мишенька оказался обычным маленьким мальчиком – да еще из тех, кого называют «подарочными» детьми. Он как будто бы знал, что появился в сложной семье, и делал все, чтобы любить его было удобно. Даже Грета, встретившая его словами: «Ну и уродец!», в итоге полюбила. Он был нетребовательным и тихим, почти никогда не плакал, рано научился улыбаться, и почти с самого рождения спал всю ночь, восемь часов подряд.

Он должен был принести в дом солнце и счастье, но почему-то так вышло, что в итоге принес раздор.

Семья, взрастившая Гензеля и Грету, едва не развалилась.

Трудно сохранить такую семью.

И однажды родители, посоветовавшись, решили отвезти Гензеля и Грету в лес и отдать на съедение ведьме, пожирательнице плоти.

То есть, на словах все было почти красиво: они сняли домик в глухой деревушке, среди мрачных неисхоженных лесов, намного севернее Москвы. Совсем недалеко – Волга, темная, разливанная, с кувшинками и цветущей ряской. Домик не новый, полы скрипят, печка потемнела и стала похожа на подгнивающий зуб, но это был единственный более-менее приличный дом, оказавшийся им по карману. Еще и палисадник просторный – двенадцать соток, а в нем – старые яблони с перекрученными артритными стволами, кусты смородины и малины, какое-то ароматное разнотравье, потрескавшаяся лавочка.

Московскую квартиру на лето удалось сдать командированному иностранцу.

Между собою родители называли эту странную затею: «Проект “Перезагрузка”».

Родители говорили – это всем нам пойдет на пользу.

Но Гензель и Грета все понимали. Их увозят в глушь, а там, в лесу, пряничный домик, и в нем живет старуха, которая их съест.

* * *

У отца последние два года была любовь.

Грете было странно об этом думать. Она воспринимала отца стариком. Хотя знала, что в его присутствии женщины становятся похожими на мед. Включается в них что-то такое, языческое, тайное, внутренняя богиня, которая льет незримый лунный свет на макушки всех, кто родился женщиной. Голос становится на полтона ниже, движения – более плавными, кошачьими, взгляд – одновременно обещающим рай и грустным, потому что рая на самом деле не существует.

Отец был темноволос, глаза цвета болота и спина, которую хотелось обнять. Так однажды сказала одна из маминых подруг, которая пришла к ним на вечерний чай. «У Максима такая спина, что ее хочется обнять». Больше эту подругу никогда не приглашали. Отец даже смеялся: «Ты что, ревнуешь?» А мама передернула плечом и сначала презрительно фыркнула, так что получилось что-то вроде «пфффф», а потом сказала: «Да нет, просто она идиотка, я давно собиралась с ней порвать».

Отец был гибкий и сильный как воин из китайского боевика. На него засматривались.

А мама была простая. Простым в ней было все – и выражение лица, и само лицо, и осанка, и походка, и одежда, которую она выбирала, и слова, которые она произносила.

О них часто говорили пресловутое «и что же он в ней нашел».

Грета однажды видела женщину, которую полюбил отец два года назад. Она была совсем не похожа на маму – этакий человек-солнце. Волосы рыжие, и манеры тоже... рыжие, если так можно выразиться – она, не стесняясь, разбрызгивала себя в окружающее пространство, жестикулировала, смеялась, у нее был высокий певучий голос – вроде, и говорит что-то, а кажется, что это не монолог, а песенка. Она была на француженку похожа. Тоненькая, в черных укороченных штанах, лакированных ботинках, с кучей пластмассовых бус. И лицо, как у обезьянки, подвижное.

Отец их не знакомил, конечно, он бы никогда не стал – Грета их на улице случайно встретила. Сначала увидела припаркованную на бульваре машину отца, потом головой повертела – а вот и он, и женщина эта, в рукав его вцепившаяся, как в круг спасательный. И вроде бы, не делали они ничего *такого*, но одного беглого взгляда достаточно, чтобы понять – влюблены. Грета в тот вечер с отцом поговорила, и он признался во всем. Сказал, что женщину ту Мариной зовут.

Грета поняла бы отца, если бы тот решил уйти. Она бы и сама с удовольствием сбежала из этого самозародившегося адка, который являла собою их жизнь. От нервной измотанной матери сбежала бы, от пугающего Гензеля.

Грета так и не поняла, почему отец однажды вернулся. Ее поставили перед фактом. Многолетнее соседство с Гензелем научило ее искусству принятия.

Родители решили все заново начать. Да, трудно им, но у семьи есть шанс, и оба готовы побороться. Попробовать. Так и возник этот дурацкий «Проект “Перезагрузка”». Отец сказал рыжей Марине, что берет паузу. Взял на три месяца неоплачиваемый отпуск. Грета как раз школу закончила, и никуда не поступила – решила позволить себе роскошь бездействия. Родители вяло посопротивлялись какое-то время, но потом махнули рукой – во-первых, спорить с таким человеком, как она, бесполезно. Во-вторых, оба понимали, что жизнь ей выпала несладкая, соседство с Гензелем у кого хочешь соки выпьет.

Гензеля и Грету увезли в деревню.

Чтобы родители могли там снова друг друга полюбить, вдали от всяких там рыжеволосых Марин и прочих соблазнов, который город с услужливостью официанта в хорошем ресторане подносит к твоему столу. В этой долбаной деревне даже Интернета не было – маленькая трагедия Греты.

* * *

– Места здесь у нас отличные. Леса грибные, речка не так уж далеко, и вода в ней чистой-шая. И рыбы полно! – сладко пела женщина, которая сдала им дом. – Соседи хорошие, тихие, алкоголиков в нашей деревне нет. И озеро за полем имеется! А какая вода в роднике нашем. Как будто сахару туда насыпали – настоящая живая вода из сказки.

Дом Раде сразу понравился. Это было как раз то, что рисовало ее воображение, еще когда мечты о лете в деревне были неоформленными. Добротный дом, хоть и старенький, сложен из потемневших от времени бревен, к нему пристроена светлая дощатая терраска, внутри – и мебель необходимая, и даже печка с лежанкой имеются. Женщина подтолкнула мужа локтем:

– Максим, что ты думаешь?

Тот хмуро пожал плечами. Ему не очень нравилась сама идея сдать городскую квартиру и на все лето перебраться в глушь. Но чувство вины заставляло смириться. Это он ушел из семьи, это он два с половиной года делил постель с другой женщиной, это он принял решение вернуться обратно. Пусть это решение принадлежало не сердцу, а скорее совести. Но его мучительная рефлексия не должна хотя бы сейчас найти отражение в и без того усталых глазах

его жены. Если Раде кажется, что склеить то, что осталось от их семьи, будет проще здесь, в этой деревеньке на тридцать домов, в этом темном доме – значит, пусть будет так.

– А что, по-моему, отличный дом, – нарочито бодро сказал он. – И недорого!

– Вы не пожалеете! – обрадовалась хозяйка. – Еще и на следующее лето вернетесь!

В машине ждали дети. Старшей, Яне, тем летом должно было исполниться восемнадцать, и она предсказуемо завалила экзамены в институт. Хозяйка дома все время искоса, с простодушным любопытством селянки, рассматривала девушку. Никогда ей не приходилось видеть настолько диковинное существо – лицо пудрой выбелено, волосы выкрашены в синий цвет, по всей руке змеится вытатуированный ящер, всё лицо в колечках каких-то, как у дикаря.

Среднему, Сашеньке, было двенадцать лет, и он крепко спал на заднем сиденье, потому что ему сделали успокоительный укол. Сын с рождения не принадлежал этому миру – жил в своем. И это была страшная жизнь – жизнь пленника, но помочь ему не брался ни один психиатр. Разговаривать Саша так и не научился, он до сих пор носил подгузники и все время проводил в закрытой комнате.

Самый младший, Мишенька, общая радость, ангел земной, еще трех лет ему не было, весело елозил на руках у старшей сестры.

– Ян, ну скажи, что дом прекрасный! – весело крикнула Рада дочери.

Та басовито ответила из приоткрытого окна авто:

– Да дерьмо, а не дом. Что и следовало ожидать.

Родители не обратили на ее хамство никакого внимания, что удивило хозяйку, которая собственной дочери за такие слова наотмашь дала бы по губам тыльной стороной ладони. Но женщина ничего не сказала. Ее дело – сдать дом и получить деньги.

– Мы остаемся, – улыбнулась ей Рада.

Когда все документы были подписаны, хозяйка вдруг сказала:

– Только я хотела вас предупредить кое о чем. Да вам все соседи скажут. Есть у нас тут лес один, я вам покажу. Ходить в него не стоит. Никто никогда не ходит.

– Там живет страшный Минотавр? – пошутил Максим.

Хозяйка дома не знала, кто такой Минотавр, поэтому ответила без улыбки:

– Нет, там даже волки не живут. Почти весь лес болото занимает. Бывают болота, по которым и пройти можно, но наше – злое и топкое. Даже в летописи какой-то старинной о болоте нашем есть! – в ее голосе была гордость. – А так, хорошо здесь у нас, воздух! На таком воздухе как убитый спишь. И деткам вашим понравится!

* * *

Старуха с выцветшими как застиранное белье глазами, подошла к засиженному мухами окну и хмуро посмотрела на автомобиль, припарковавшийся у соседнего дома. Оно началось. Дом все-таки сняли. Это должно было случиться – дом добротный, плечистый такой, с резными ставнями и флюгером-петушком на крыше чуть покосившейся веранды. В доме ее было темно, и новые соседи не могли ее видеть. А вот у нее была возможность хорошо их рассмотреть. Старухе они не понравились.

Мужчина, вроде бы, хорош собой, но с очевидным надломом. В деревне о таких говорят – «без яиц». Стержня в нем не было, сплошная каша внутри. Несмотря на твердость бицепсов и квадратный подбородок. Женщина – какая-то манерная и очень, очень, очень несчастная. Причем сама боится в это поверить. И зря. Чтобы горе пережить, его принять сначала нужно. А если отвергаешь, оно так и будет с тобою. Будет притворяться частью тебя, а потом наступит момент, и оно тебя съест. Старуха это точно знала. А женщина – нет.

А дочка их – посмотреть страшно. Тощая как цыпленок, а на лице солнечные зайчики пляшут – старуха даже сначала и не поняла, в чем дело, откуда столько сверкания, а потом

прищурилась, пригляделась и пробормотала: «Ох, небеса святые!» – все лицо девочки было в колечках. Нос проколот, как у племенного быка. В губе какая-то дрянь железная. И в брови. А в ушах – целый килограмм сережек. Крапивой бы ее выпороть, а родители только улыбаются, да еще и зажигалку услужливо подносят, когда маленькая дрянь, позируя, пытается курить.

Старуха давно заметила, что современным родителям твердой руки не хватает. Немодно в наше время воспитывать детей твердой рукой. Вот и получается черт знает что, а не дети.

Мальчик их старший явно болен, жалко беднягу. Серый, лицо одутловатое, взгляд как у тухлой рыбины. Из машины его едва не на руках вынесли – а ведь ему не меньше двенадцати лет, уже рослому отцу по плечу. Едва оказавшись на воздухе, он сел на корточки, закрыл голову руками, как будто бомбежка воздушная, и орать принялся. Мать, озираясь, сразу в дом его увела.

Только о маленьком ребенке ничего плохого не смогла бы сказать старуха. Но маленькие – они все ангелы, что с них вообще возьмешь.

– А что, хороший дом! – весело сказала женщина.

– И запахи какие, – с натугой улыбнулся ее муж. – Даже курить не хочется. Что это цветет, чермуха?

– Нам здесь будет хорошо, – женщина мечтательно потянулась. Она явно сама не верила в то, что говорит. – Глядишь, и насовсем останемся.

«Как бы в земле вам сырой не остаться тут насовсем», – мрачно пробормотала старуха и отошла от окна.

* * *

Обустроились быстро. Они не стали брать с собою много вещей. Идея проекта «Перегрузка» – полная, почти до аскетизма, простота. Спокойная жизнь на природе, где нечем заняться, кроме себя самих.

Яна первая выбрала комнату – естественно, самую дальнюю и темную. Она не любила яркий свет, не любила просторные помещения. С самого детства как будто бы искала защиты у пространства. Как будто бы ей не комната была нужна, а панцирь или нора.

Для Сашеньки обустроили комнату на отшибе, большую. К каждой стене Максим прибил двуспальный матрас из поролон. Окно закрыли защитной решеткой. Сын иногда бился темечком о стены и пол, ему требовалось особенное пространство.

Мебели в комнате не было – для сына была обустроена лежанка на полу, которую Рада убирала каждое утро. Ел Саша тоже с пола – мать ставила пластиковую тарелку, он подползал, долго принимался к пище, ждал, пока все покинут комнату, и только потом приступал к трапезе.

Целыми днями Саша строил спичечные городки.

Спички – это было спасение.

Спасение было внезапным, пришло указующим божьим перстом. Однажды Рада наклонилась, чтобы вытереть блевотину с пола комнаты, где жил ее старший сын. Сашеньку часто тошнило на нервной почве. А поскольку все его переживания, стремления, мысли и реакции никак не были связаны с внешним миром, томились внутри него, как жаркое в горшочке, очередной срыв невозможно было предугадать. Иногда – недели штиля. А потом ни с того ни с сего сын начинался бросаться на обитые войлоком стены и глухие ставни, которыми они были вынуждены закрыть окна его комнаты.

И вот Рада наклонилась, и из кармана ее домашнего платья выпал коробок спичек. Вдруг Сашенька на четвереньках подполз, схватил коробок и утянул добычу в угол.

– Положи! – расстроилась Рада. – Нельзя с этим играть, опасно!

Сын не понимал слов, но различал интонации; повернув к Раде рыхлое лицо, он недовольно зарычал и оскалился, подняв пухлую губу и обнажив плохо вычищенные зубы, а когда мать подошла ближе и протянула руку к коробку, начал визжать. Как хищник, охраняющий пищу.

Рада растерялась – Сашеньку ведь редко интересовали предметы. Решила остаться и понаблюдать – что теперь будет. Если Саша начинал что-то делать, это, как правило, затягивалось на часы. Кричал – часами. Раскачивался, уставившись в стену – часами. Мог бить ладонью по стене всю ночь. Или наматывать собственные волосы на палец – как робот с запрограммированной траекторией движений. А теперь вот он высыпал на пол все спички и перебирал их завороченно. Как будто сокровища пиратские нашел. Пальцы у него были ловкие и быстрые, с длинными желтоватыми ногтями, которые он стричь не давал.

Сашенька так увлекся спичками, что даже не прореагировал, когда мать тихонько подошла и уселась на пол рядом с ним. Хотя обычно нарушения дистанции не терпел. Но теперь он был полностью погружен в новую игрушку, и пальцы его работали ловко, как у вязальщика. Ему одному ведомым способом он скреплял спички одну с другой, и вот уже на его ладони появился домик – крошечный спичечный домик с аккуратной покатою крышей.

– Красиво как! – воскликнула Рада, ошарашенная.

Сын всю жизнь вел себя как животное, и вдруг за считанные минуты, никогда такому не обучавшись, создал красоту – это была не детская поделка, а почти искусство. Рада позвонила его лечащему психиатру.

– Да, случается такое, хоть это и большая редкость, – сказал тот. – О природе этого явления мы мало что знаем. У нас есть мальчик с таким же, как Саша ваш, диагнозом, так он на скрипке играет. Так играет, что мог бы Паганини стать – только вот не светят ему концерты, людей не переносит. Наш с вами мозг – вообще штука малоизученная. Так что радуйтесь и развивайте талант.

В тот же вечер Рада и Максим купили, должно быть, миллион спичек, и у каждой перочинным ножиком стряхнули серную головку. И все Сашеньке отдали. Тот как увидел – даже клейкую струю слюны из уголка рта пустил. Всю ночь шуршал в комнате своей, а когда утром Рада вошла, замерла на пороге в ужасе священном – всю комнату сына, весь пол, занимал спичечный город. Там и домики были, и церковь, и даже вышла пожарная часть. Откуда он все это знает, он и на улице-то был считанные разы. Это было чудо, настоящее чудо. С тех пор Саша только и занимался тем, что строил спичечные города, и раз от раза его поделки становились все более сложными. Рада даже продала один домик через сайт, на котором частные мастера выставляли свои работы.

Конечно, жизнь их безоблачной не стала. Через несколько дней – очередной Сашенькин кризис. Вопли, соседи стучат по батарее, блевотина на полу. Несколько дней на уколах успокоительных – сын оwoщем лежал на матрасе и смотрел в потолок. В общем, все, как обычно. Но потом он немного пришел в себя, и Рада снова предложила ему спички. И Саша построил многоквартирный дом, с газоном, парковкой и человечками во дворе. Человечков было пятеро – мужчина, женщина и трое детей. Один – совсем малыш. Рада увидела и заплакала – в тот момент она впервые поняла, что Сашенька знает, кто она такая, и других тоже знает. Понимает, что у него есть семья, свои.

Глава 2

У старухи Марфы был не то дар, не то проклятье – она мертвых слышала. Не всех, только тех, кто не смирился со своим упокоением. Некоторые мертвые легко уходят, некоторые даже радостно – видят дорогу и летят по ней, не сопротивляясь, и сначала за спиной остается ненужным балластом боль, потом и память, а потом – все то, что серебряной ниточкой, тонкой и крепкой, связывало их с миром живых. А некоторые смерти противятся, как дети, которых насильно утаскивают с игровой площадки, а они продолжают упрямо цепляться маленькими кулачками за ржавый остов расшатанных качелей. Страшно им тело оставлять, и еще страшнее – то, что тело портится, гниет, знакомые черты в кашу расплываются, им быть от этого хочется, они злятся. Не так злятся, как люди, ярость и страсть мертвецам недоступны, скорее это приглушенная, точно ватой обернутая злость.

Когда-то давным-давно старая Марфа была девочкой, и был у нее дед, которого в лесу дерево придавило, хребет перебило ему. Парализовало деда, он не мог и пальцем пошевелить, только глаза его жили, тело же оставалось неподвижным. Марфа боялась к нему в комнату заходить, потому что точно знала – дед злится, очень злится. Его не радует внучка, неинтересно посмотреть, как она растет, – он злится топоту ее башмаков, злится, что она может порхать и бегать, а он – как камень, лежит и все. Марфа заходила к нему – напоить его, или лежанку поменять, а он следил за ней взглядом, внимательным и злым. Марфе казалось, что если бы случилось чудо, и дед однажды встал бы, он бы в первую очередь ее придушил, чтобы злость, годами копившуюся, излить. Вот и у мертвецов злость тихая, без искринки, монотонная.

Марфа иногда видела – девки в сочельник гадают-ворожат, зеркальный коридор устроят, свечку церковную поставят и давай за свое плечо всматриваться. А свечка для такого дела нужна непростая – ее следовало сначала в церкви зажечь, потом, не выходя на улицу, потушить, а потом воткнуть фитилем вниз туда, где за упокой души просят. Такое было суеверие.

Марфа мрачно смотрела на это и думала: вот ведь дуры какие, сами не ведают, что творят, что в жизнь свою тянут. Если бы они слышали хотя бы половину того, что слышит она, если бы знали, сколько по миру бродит неприкаянных душ, мертвяков неупокоенных. Такого только примани – с радостью пойдет на твой зов. Он не понимает, кто ты, и что ты, просто идет, как слепец на тепло. Ему тепло твое нужно, хоть немного отожрать. А девка двери открывает и сидит нарядная перед зеркалом, жениха с волнением сердца ждет. Еще и радуется – мол, холодок по позвоночнику прошел, значит, *та сторона* близко. Близко, близко, и гораздо ближе, чем ты, дура, думаешь.

Некоторые из неуснувших, кто давно по земле шляются, постепенно обрастают материей – не настоящим телом, конечно, но взглядом поймать такую нечисть можно. И вот у девки от торжественности момента дыхание замирает – ее взгляд улавливает в зеркале, за спиной ее, мелькнувший силуэт. И страшно ей становится, и любопытство гложет. Поверье говорит, нельзя зеркальному жениху в глаза смотреть – иначе рассудка лишишься. Как подойдет он ближе, надо зеркало перевернуть.

Старая Марфа догадывалась, почему так дурам делать велено. Когда-то давно познакомилась она с бабкой ветхой – самой Марфе тогда едва за пятьдесят было, крепкая баба в соку, а та старуха была почти на полвека древнее. Бабка была из таких, как сама Марфа – чутких и видящих. И бабка призналась ей: с мертвяками она много лет водится, использует их, работает так.

Сами мертвяки ничего не стоят, но силой мертвой можно и прошлое узнавать, можно и в могилу кого надо свести. Только не любые шатуны подходят ей – нужны те, кто посильнее. Мертвые ведь тоже не вечные – так объяснила бабка – со временем испаряются. Но если их силой жизненной питать, чужими соками, то они довольно долго протянуть могут.

Поэтому те, кто с мертвой силой работают, издревле и придумывают суеверия – чтобы люди не ведающие шатунов к себе сами звали. Кличет девка в зеркало жениха, а на самом деле к ней мертвяк по зеркальному коридору плывет – ему-то все равно, он чувствует свет, тепло, он голоден до этого тепла, ему надо отпить. Если девка зазевается и зеркало вовремя не перевернет, ее могут и всю сожрать – сразу, конечно, не умрет, но будет изнутри точить ее хворь неведомая. Так и зачахнет, а врачи руками разведут – всякое, мол, бывает. А если перевернет – все обычно переворачивают, страшно же тень за своей спиной увидеть, – то мертвяк многого взять не успеет. Может, легкое недомогание у девки наутро будет. Она только порадуется – значит, правда все это, значит, с силой она соприкоснулась, с настоящей. И много таких суеверий, которые на самом деле нарочно созданы, чтобы шатунов подкормить.

Сама Марфа с мертвой силой не работала, но шатунов чувала, слышала мысли их. Обычно это отдельные слова были, глухие и невнятные, как будто у произнесшего их рот землей набит или язык распух сильно. Отрывистые мысли – «Голодно... Страшно... Гнию...» Марфа еще девушкой молодой была, когда это началось, и сначала ее оторопь брала, мурашки ледяные по спине гуляли. А потом привыкла. Самыми жуткими для нее младенцы мертвые были. У них, конечно, мыслей-слов не было, только плач один. И это был ни на что не похожий плач – глухой и монотонный, как будто бы сквозь толщу глины пробивающийся. В нем одна только безнадежность была – ни жажды, ни страха, только тоскливая пустота.

* * *

Яна писала стихи – депрессивно-тягучие, с рваным ритмом и нагромождением странных образов. Первое написала, когда ей было тринадцать лет. Рада с энтузиазмом поддержала затею. Дочь не интересовалась ничем, кроме Интернета. Все ее друзья были в Интернете, все мысли, все устремления. А тут – хотя бы какая-то обратная реакция миру.

Тайком от Яны она однажды собрала файлы и отправила их в литературный журнал. Получила типовой ответ секретаря и радовалась как ребенок. А когда Яна узнала – был скандал. «Ты нарушаешь мое личное пространство», – отчеканила на тот момент пятнадцатилетняя дочь. Рада промолчала, боясь ее ранить.

Яна была помешана на священной личной территории. К ней в комнату нельзя было войти без стука. На ее тетради нельзя было даже смотреть – не то чтобы открывать. Однажды Рада не выдержала, и когда дочь была в школе, открыла ее личный дневник. Понимала, что поступает гадко, но ничего поделать с собою не могла. Боялась за Яну, упустить ее боялась. Хотя что уж там... Дочь несколько раз убегала из дома, и чем старше она становилась, тем больше проблем приносила в семью. Иногда страусовая позиция даже казалась выходом. Повлиять все равно невозможно – потому что Яна в свои пятнадцать – сильная, а она – Рада, слабая, и всегда была такой, всегда все ею помыкали.

Она прочла несколько страниц дневника дочери, который та вела с тщательностью интроверта. Ничего не поняла, только расстроилась. Ничего нового не узнала, кроме того, что и так ей было известно – трудно ее дочери придется в жизни, как и всем не от мира сего. Личных мыслей в дневнике почти не было. Яна переписывала чужие – цитаты, обрывки стихов и отрывки из старинных страшных книг.

«Попасть в руки судьи по делам ведьм означает, что обвиняемому придется бороться за свою жизнь со львами, волками и медведями, не имея никакой защиты, поскольку он лишен любого оружия. 1650 год», – читала Рада.

Что это такое, зачем эти странные строчки понадобились пятнадцатилетней девушке?

«Антуан Годен, около сорока лет, принесся присягу и будучи допрошен, сказал, что слышал, как сын упомянутой Дэсле говорил в поле, что его мать отправилась задом наперед на витой ивовой палке на сборище. Также он свидетельствовал, что слышал, как люди говорили,

что упомянутая Дэсле трижды произносила проклятия по адресу женщины по имени Прэнс, пока та рожала. 1529 год».

И тому подобная муть. Рада расстроилась, но дочери ничего не сказала.

Ее называли Радой, и в этом была ирония судьбы, ибо она не радовалась почти никогда. Хотя умела отлично имитировать – вся ее жизнь, в сущности, была хорошей миной при дурной игре. Она давно смирилась, хоть и плакала иногда в подушку перед сном.

Грусть, грусть, едкая, как дым дешевых сигарет.

Должно быть, проще живется тем, чье существование напоминает набор машинальных ритуалов. На ощупь сунул ноги в привычные тапочки, сварил кофе, поплелся в офис знакомым маршрутом, на лестнице встретил коллегу, который заученным преувеличенно бодрым тоном спросил: «Как дела?», точно так же заученно ответил ему: «Лучше всех! Отлично!», а сам при этом подумал, что ничего же хорошего, долги по квартплате, отсутствие секса, эти грязные московские лужи, хамство, водители маршруток, рассуждающие о политике, опять кариес, и какая-то родинка подозрительная на плече, и все время хочется спать.

Включил компьютер, полистал новости, поработал немного, а там и обеденный перерыв, и гуляш в местной столовой напоминает собачий корм. Вечером – толкотня в маршрутке, потом – разогреть что-то на ужин, а вот уже и спать пора. Городская зомби-программа, не подразумевающая рефлексии.

Рада с детства к каждой ситуации относилась как к кубику Рубика. Ее личными инквизиторами были тысячи возможных альтернатив, которые она каждый раз открывала постфактум.

Раду воспитывала бабушка.

Не ешь меня, бабушка. Только, пожалуйста, не ешь меня.

Август, желтая луна в окне, комары, душно, ночь как ночь. Кто-то неумело бренчит на гитаре во дворе, и Раде мерещится, что пытаются вывести «Блю валентайнз», хотя на самом деле – Цоя. Какие блю валентайнз в восточном Гольянове? Занавеска слегка колыхнется, как привидение, в квартире пахнет смертью: блины, хризантемы, свечной воск. Все домашние спят, потому что близость смерти и связанный с ней особенный сорт суеты утомляет больше, чем физический труд.

Рада одна в кухне, перед ней остывающий чай, который она налила машинально, потому что не сидеть же перед пустым столом. В голове было пусто. Не та священная пустота, которая есть первооснова всего – но тягостная, с привкусом ожидания беды.

С самого утра все шло не так, нахамили в морге – обидно, беспричинно – потом ей стало плохо на отпевании, она начала оседать на пол, и если бы кто-то не подхватил, подожгла бы юбку свечой. Долго искали парковку у крематория. А потом выяснилось, что крематория на кладбище два, и они приехали не к тому, а в нужном – все на них злы, потому что очередь. На поминках подали скисший компот. Тосты были все какие-то фальшивые, как будто бы произрастали не из любви и пустоты, а из суеверного тезиса «о мертвых либо ничего, либо хорошо».

У бабушки фобия была – боялась, что ее заживо похоронят.

– Внучка, когда я умру, ты отруби мне пальчик, – просила она.

– Что ты за ужасы говоришь, зачем?

– Говорят, если у человека сон летаргический, то болевой шок разбудить его может. А то усну, а все подумают – померла. Увезут в холодильник меня. Я буду думать – что же вы, зачем же меня в мешок положили, я же живая. А сама понимаешь, кто трупы возит – санитары пьяные. Потом в холодильнике я усну. А проснусь уже под землей, в гробу. Буду метаться, кричать, царапать ногтями доски. И не услышит никто. Отруби мне пальчик, внученька, чтобы этого не случилось.

– Бабушка, замолчи, замолчи!

Впервые бабушка попросила отрубить ей пальчик, когда Раде всего десять лет было. Она потом много ночей уснуть не могла – все ей мертвая бабушка снилась.

А когда вещи бабушкины разбирала, нашлось странное письмо.

«Дорогая моя внучка Рада! Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых. У меня так и не хватило смелости рассказать тебе, но и чтобы ты жила в неведении, допустить не могу. Надеюсь, моя земная жизнь продлится еще много лет. Но на всякий случай пусть это письмо будет уже сейчас. И однажды оно дождется своего часа.

А сейчас тебе восемь лет, и ты у меня настоящая красавица. Июнь, и мы с тобой в пансионате на Истре, путевку достала моя подруга. Здесь хорошо, и кормят четыре раза в день, ты поправилась и выросла, и все прошлогодние платья вдруг стали тебе коротки. Ты научилась кататься на велосипеде, бегло читать и наконец плаваешь без спасательного круга.

А вчера ты опять спросила про мои янтарные бусы, откуда они у меня. И я ответила правду – что это единственное украшение моей матери, которое не проели в черные годы. И ты тогда попросила: “Расскажи мне о твоей маме! Почему я ее никогда не видела?” Я отвлекла твое внимание. Хорошо, что тебе всего восемь лет, и ты наивна как божий ангел. Я не знаю, что я скажу, если ты спросишь о моей маме, когда станешь старше. Наверное, что-нибудь совру. Что сама плохо ее помню, например.

Я помню ее хорошо.

Штука в том, что я не хочу говорить о моей матери. Все ее изображения были сожжены в день ее смерти, а ее имя в последний раз произносилось на поминках, после похорон. Даже на сороковой день после смерти ее уже не вспоминали.

Мою мать, твою прабабку, звали Софьей, родом она была из деревни, но в юности переехала в город и сразу удачно вышла замуж. Все удивлялись – полуграмотная некрасивая девка и мужчина благородных кровей, с историей, деньгами и связями. Но ничего удивительного. Твоя прабабушка и моя мать была колдуньей, ведьмой. Возможно, тебе, читающей эти строчки, покажется, что я выжила из ума. Я довольно поздно узнала правду, но я всегда боялась мать. Мне было десять лет, когда я поняла, что ненавижу ее, и мне было за это очень стыдно. Меня никогда не били, относились ласково, у меня были и нарядные платья, и хорошие учителя. Но у нее был такой взгляд, что когда он останавливался на мне, хотелось стать невидимой, исчезнуть.

Соседи о моей матери много сплетничали. Я думала, что это зависть. Ведь у нас всегда водились деньги. Всегда, даже в самые тяжелые годы, мы жили лучше остальных – беды как будто бы не касались нашей семьи. Мой отец любил мать беззаветно, как фанатик любит бога. Мне было восемь лет, когда мама полюбила другого человека, и по странному совпадению в тот же год отец скончался от неведомой хвори. Я очень по нему скучала, всю жизнь.

Соседи говорили, что мама знает слова, которые могут убить любого. И что не стоит поворачиваться к ней спиной, потому что если она прошепчет что-то в затылок – быть беде. Мама знала об этих сплетнях и даже над ними посмеивалась. “Дремучие необразованные люди”, – презрительно говорила она.

Но однажды я заметила, что она и правда шепчет что-то в спину проходящей мимо соседки. И тем же вечером тело той в полиэтиленовом мешке куда-то унесли. Я спросила маму: “Неужели это ты сделала?” А она дала мне пощечину, впервые в жизни. С тех пор я внимательно за мамой наблюдала и даже иногда делала то, на что никто другой, включая ее мужей, никогда не осмелился бы. Я за ней подсматривала. Я залезла в ее личные вещи.

Я всегда знала, что мама прячет что-то в шкафу. Ее одежный шкаф нельзя было открывать – если только кто-то к нему приближался, мать начинала шипеть, как разъяренная кошка. И вот один раз ее дома не было, я в тот шкаф залезла. Среди одежды и обувных коробок я нашла трехлитровую банку, в которой сидела крупная жирная жаба. Я никогда таких жаб не видела – бурая, бородавчатая и с желтыми, круглыми, как у совы, глазами. Сначала мне показалось, что она неживая. Я сунула в банку руку и ощутила в ладони прохладную пульсацию –

жаба дышала. Не знаю, зачем я вынула ее из банки. Как будто околдованная была. Жаба меня не боялась. Прижалась к моей руке и даже зажмурилась от удовольствия, как будто диванная собачка. Я погладила ее по голове, покрытой бородавками, похожими на гнойные прыщи. И вдруг жаба осторожно поползла по моей руке – как будто бы знала направление. Мне было и противно, и любопытно. До того я никогда не держала в руках ни лягушек, ни жаб. Жаба забралась мне под футболку, к груди, и вдруг я почувствовала, как ее холодный пупырчатый рот сжимает мой сосок. Я завизжала и сбросила ее на пол. А потом убрала обратно в банку, а банку – в шкаф. Тем вечером я слышала, как мама, которая думала, что я уже сплю, тихонько приговаривает: “Бедная ты моя, бедная. Как же ты ухитрилась сломать лапку. Ничего, я тебя вылечу, я тебя выкормлю. Иди ко мне, отведай молока красного”. Никогда до того я не слышала, чтобы мама так ласково с кем-то разговаривала, даже со мной.

Но это не главное. Однажды я видела, как мама убила ребенка. Это произошло в одну из зимних, самых темных в году, ночей. Откуда она взяла младенца – я не знаю. Я услышала его приглушенный, похожий на мяуканье, плач. “Что там у тебя?” – спросила я маму. “Тебе показалось, это просто телевизор!” – с натянутой улыбкой ответила та. Я видела, как моя мама волнуется. Ребенка она спрятала в корзину для грязного белья и одеялом сверху накрыла. У нас была большая квартира, и мама была уверена, что я ничего не замечу. В тот день она отослала меня в комнату раньше обычного. Мне не спалось – я знала, что за дверью происходит что-то страшное. У меня зубы стучали от страха. А утром мама была веселее, чем обычно. Она прекрасно выглядела и как будто помолодела на двадцать лет. Совсем девочка стала – румяная и с наивными глазами. Я ей сказала: “Мама, мне показалось, что ночью тут ребенок плакал”. Думала, она меня отругает, но не могла молчать. А она расхохоталась и угостила меня пряниками. “Что же ты у меня такая глупая, ну откуда тут дети. Придет же в голову”. А потом я в корзине для грязного белья нашла окровавленные тряпки. Я точно знаю, что младенец был, и что она его убила, но только вот не знаю, зачем ей это понадобилось.

Зачем я это все пишу тебе, внученька? Я хочу тебя попросить – будь внимательнее. Уже потом, после смерти матери, я с разными людьми на эту тему осторожно беседовала и выяснила, что колдовской дар обычно передается в семье по женской линии. Я сама была этого дара лишена. К дочери своей с детства с тревогой присматривалась – но и ее миновала эта страшная участь. И к тебе присматривалась тоже. Я так боялась, что однажды в тебе проснется то чудовище, каким была твоя прабабушка и моя мать. И каково же было мое облегчение, когда я поняла, что ты нормальная, обычная девочка. Моя милая Рада, я хочу тебя предупредить. Если когда-нибудь родится у тебя дочь, наблюдай за ней внимательно с самого детства. И если заметишь что-то странное, лучше убей ее, удави во сне подушкой. Потому что вырасти такой, какой была твоя прабабка Софья, – это горе великое. Надеюсь, ты прочтешь это письмо и поймешь меня правильно».

Рада тогда всю ночь над этим исписанным мелким почерком листом рыдала – не потому что поверила страшной сказке, в нем изложенной, а потому что вдруг поняла, что бабушка была сумасшедшая. Столько лет жила рядом, медленно сходила с ума – видимо, плохо ей было, а никто и не заметил, не помог бедной. Страшно ей было, наверное, жить с такими демонами в голове.

О письме она довольно быстро забыла. Человеческая психика так странно устроена – мы вытесняем из памяти плохое, из чувства самосохранения.

А стихи дочери ей нравились, иногда Рада их перечитывала.

И где-то там, от Москвы километров триста, она бросает зернышко, удобряет его компостом, как и положено созерцателям – бесцельно, просто. Смотрит в небо, на перистых облаках полоски. И пока она там, далеко, следит, улыбаясь, за облаками, ты мрачным жнецом собира-

ешь апатию своими руками. Восемь американо, напротив некто, с тяжелыми веками и худенькими руками. Разговор – клочками. Так и живешь себе – скептиком, атеистом. По вечерам гуляешь по Патриаршим и Чистым, пьешь разбавленный газировкой виски. Твои глаза цвета болотной ряски, и к лицу давно приросли все твои маски. И тебе иногда кажется, что ты уже близко – руку протянуть, и вот же она, бездна, смотрит с ухмылкой, словно ты у нее в расстрельном списке, омут, затягивающий и склизкий. И отворачиваться бесполезно, ты же хоть и с претензией, но не железный, твой панцирь скроен из черных шуток, твой мир, покоящийся на черепахах, шаток. А всего-то и надо – снежинки за воротник парашютами. Не то чтобы просто пауза – но тончайшая в своем величии пустота, – верил бы ты в божественную природу Христа, было бы проще, а так... – просыпаешься – балконная дверь на восток, там розовеет; ватные облака. А у нее, километров за триста, уже росток. Но тебе на такое не хватит ни нервов, ни табака.

Закрыв глаза и почти досчитав до ста – мол, иду искать, из-под земли достану, – делаешь шаг с воображаемого моста, под которым вода, темна и густа. И почему-то еще саднит, хотя казалось бы – почти забавно, бескровно, не рана – давно короста. И луна над твоей головой двухвоста, дома, серы и бугристы, глаза твои водянистые. Вот нет бы, как раньше, запить игристым. И под рассветными облаками умиляться, как она путает писателей мураками, как топчет лед каблуками – тоже глупо, но все же лучше, чем этот камень. Семь тридцать утра, телефон молчит; за стеною город, и опять будет трудный и длинный год, и каждый третий случайно встреченный – гром небесный, а каждый второй – громоотвод. Это пафосно (для семи утра) прозвучит, но самая соль – в отсутствии смыслов и первопричин. Снег уже пахнет мартом. Кофе опять горчит.

* * *

В деревне завывла собака – нехорошо завывла, протяжно, с той тоскливой безысходностью, которая всегда сопровождает смерть.

Старуха чуяла смерть не хуже, чем собака. Смерть была вокруг нее, все было пропитано ею. И пахнувшие плесенью стены ее ветхого домика, и хилые деревья в ее саду, и стопка пожелтевших газет, в которых под заголовком «новости» было написано о людях, давно отживших. И она сама, больше похожая на мумию – эта темно-желтая, как пергамент, кожа, облепившая череп, клочья седых свалявшихся волос, пустые тусклые глаза.

Старуха предчувствовала смерть как иные ощущают перемену погоды. Только у нее не кости ломило – ее всю словно наизнанку выворачивало, как старое платье; места себе не находила, в висках стучала кровь, обычно медленная и как будто бы по-змеиному холодная, мутило и пошатывало, хотелось согнуться пополам и отцветшую свою душу выплевывать прямо под ноги, на серые эти доски. Но она знала: не получится, не поможет, ничего не поможет.

С трудом ступая, она выбралась из своего темного отсыревшего дома на шаткое крыльцо и посмотрела в сторону леса, на плечи которого уже тяжелой шалью опустились сумерки.

– Опять ОНО, – пробормотала старуха себе под нос.

Глава 3

Впервые это случилось, когда семья ужинала. Было уже полночь – все местные давно видели сны, но привычка к ночному преломлению хлеба была их единственным семейным ритуалом, тон которому задал Сашенька. В начале ночи он обычно погружался не то чтобы в сон – скорее в анабиоз. Как будто бы воздух вокруг него превращался в желе, и он сидел в плену остановившегося времени, приоткрыв рот и широко распахнув глаза. Вглядывался во что-то, только ему одному видимое. Иногда слегка покачивался, как растение на ветру.

Остальные же в такие часы могли притвориться, будто Сашеньки не существует совсем, и у них обычная семья с полубогемным бытом и полуночными чаепитиями.

И вот они расселись вокруг старого растрескавшегося стола, у тусклой лампочки плясали мотыльки, марлевая занавеска слегка колыхалась и была похожа на фату невесты-призрака, густо пахло летом. Говорили о чем-то несущественном, потому что именно незначительность тем была в таких чаепитиях самой важной деталью. Если ты можешь позволить себе тратить энергию на болтовню о последнем фильме Вуди Аллена – значит, ты еще совершенно точно не доплыл до дна. Ибо на дне энергию экономят и выпускают на волю только по существу. Вдруг Яна нахмуренно сказала:

– Пойдите! Вы это слышите?

Где-то вдалеке плакал маленький ребенок. Судя по всему, едва родившийся – голос еще хрипловато-трескучий, не разработанный.

– Детка плачет у кого-то. И что такого? – пожала плечами Рада. – Может, ликеру выпьем еще?

– Нет, замолчите, замолчите! – Яна подошла к окну и высунула голову в темноту. – Только что было... Там не один ребенок, там как будто бы целые ясли плачут... Странно как...

– Да померещилось тебе, – мать подошла к ней со спины, провела по волосам ладонью.

Яна дернула головой – она не любила чужих прикосновений, семнадцать лет – это все еще трудный возраст. Неуверенность в себе, неосвоенность в мире, который уже готов считать тебя взрослой, трогательная устричная незащищенность в сочетании с самоощущением Колумба – как будто бы до того, как появился ты, не существовало ни секса, ни свободомыслия, ни желания устроить судьбу вне матрицы. Любое чужое телодвижение воспринимаешь с точки зрения – а не пытаются ли нарушить мои границы. Трудно Раде было с дочкой.

– Ну, давай на улицу все вместе выйдем, – Рада привыкла носить маски, поэтому приминая улыбка получилась естественной. – Папа покурит, а мы послушаем. Там и ночь такая хорошая.

– Я тоже покурю, – с вызовом бросила дочь.

Вышли на крыльцо. Два огонька, пляшущих на кончиках сигарет – как крупные светлячки. Отец и дочь курили плечом к плечу, и в этом была какая-то болезненная близость. Близость преодоления запрета.

У Рады всегда возникало щемящее чувство, когда она смотрела на домашних – с одной стороны, она любовалась, сама она с возрастом сдала, круглосуточная нервотрепка не располагает к свежести лица, а вот Максим лет в сорок распустился в мужчину, на которого на улице оборачивались. И дочь была похожа на него – рослая, как валькирия, нетронутая солнцем кожа, черные волосы, яркие синие глаза. С другой стороны, она никогда не могла отпустить мысль об обреченности – обреченности всех них. По-дурацки как судьба сложилась.

Малыш снова заплакал где-то вдалеке – монотонно и безутешно, а потом (и, услышав это, Яна торжествующе подняла униженный серебряными кольцами палец) раздался еще один детский голос, а потом еще, и еще. Младенцы плакали, как будто бы передавая эстафету друг другу, и было их не меньше семи. Иногда на минуту умолкали, а потом начинали с новой силой.

Рада передернулась, кофту на плечах поправила – вдруг поняла, что не так уж тепла ночь, как ей сперва показалось. Что-то неправильное было в том плаче, а что именно – она сформулировать не могла. Не только монотонность – дети обычно меняют интонацию, а каждый из этих малышей как будто бы одну ноту держал, – а что-то еще, неуловимое, что-то такое, от чего хотелось юркнуть обратно в дом и плотно закрыть за собою дверь.

– Странно... Это у кого же в деревне столько маленьких? – наконец нарушил молчание Максим.

– В том-то и дело, что ни у кого! – Яна щелчком пальца отбросила окурок в траву. – В нашей деревне вообще ни одного младенца нет.

– Может быть, это из Гребенева? – предположила Рада. – Мы проезжали такую деревню, когда сюда добирались, она недалеко, я помню...

– Ага, недалеко, километров пятьдесят всего, – насмешливо сказала дочь. – Mam, сама прислушайся. Это в лесу. Дети плачут в лесу.

Все трое посмотрели на темные силуэты елей, выделявшихся на фоне неба. Лес близко подступал к деревне со всех сторон. Когда они оформляли договор аренды на дом, хозяйка предупредила: «Места здесь отличные, грибы, черника, Волга недалеко, только вот есть одно место, куда ходить не следует, от греха. Вон тот лес, что через поле, – и она махнула рукой как раз в ту сторону, откуда теперь раздавался плач. – Там болото сплошное, ногам ступить негде. Сперва кажется – лес как лес, но стоит поглубже зайти, и все, затянуть может. Голодное такое болото, топкое. О нем даже в летописях древних упоминается, – в ее интонации появились нотки гордости. – Много народу там погибало. Власти местные уже столько лет грозятся что-то с этим делать, а все никак. Так что просто не подходите к лесу, и деткам своим запретите строго-настрога».

Рада вдруг осознала, что ей так не нравилось в летающем над лесом плаче – в нем не было просьбы о помощи, надрыда не было. Малыши плачут, когда им что-то нужно – страшно, голодно или мокро. А эти дети как будто бы и не требовали ничего, а просто издавали звуки.

– Максим, может к соседке сходим? – Рада прижалась к рукаву мужа плечом, и тот приобнял ее. – Может, милицию вызвать надо? Мне это не нравится...

– Да погоди, давай хоть несколько минут обождем еще... У соседки окна темные давно, старики рано ложатся. А вдруг и правда в соседней деревне это. А мы всех на уши поднимем. На нас и так настороженно все смотрят, чужаки мы для них.

Не успел он это произнести, как крик прекратился. Все младенцы замолчали разом, словно повинувшись взлету палочки невидимого дирижера. Над лесом воцарилась тишина. Но всего на несколько мгновений – а потом раздался вой, такой тоскливый и громкий, что даже Яна, кичившаяся железобетонными нервами, вспрыгнула на крыльцо, сразу на вторую ступеньку. Бессознательное движение, первобытный инстинкт, когда тело, не спрашивая разрешения у сознания, уводит себя от смертельной опасности.

– Пойдем в дом, – коротко бросил Максим.

Чаю никому больше не хотелось. Рада начала суетливо убирать со стола, стараясь не показать своим, что руки дрожат.

– Волки что ли... – наконец сказала она. – Здесь наверняка должны быть волки.

– А мне показалось, что это человек, – Яна села на подоконник и принялась болтать ногами, обутыми в кеды, скорее похожие на старинные утюги. – Голос какой-то... Не могу объяснить... С хрипотцой. То ли прокуренный, то ли просто старый.

– Бред какой... Максим, почему ты молчишь?

Муж сидел, уткнувшись взглядом в пустой стакан с чайнками на дне. В последние недели у него часто был такой взгляд – как будто бы мыслями он был настолько далеко, что даже тело становилось похожим на опустевший дом. Раду вновь кольнула ревность. Каждый раз, когда Максим вот так «терялся», она думала – наверное, ту девицу вспоминает. А потом смотрит на

нее, на Раду, и сравнивает, и уж понятно, в чью пользу. Девушка молодая совсем, и у нее нет ребенка-инвалида, которому надо все время посвящать.

– Мне здесь не нравится, – не глядя на нее, сказал муж.

– Никому не нравится, только маме, – радостно подхватила Яна. – Я думала, тут самое худшее – отсутствие Интернета и комары. А тут дети плачут и люди воют. И это первая неделя.

– Ну не начинайте... Мы же договорились – три месяца. И квартира сдана, вернуться нам некуда... Ладно, пойдемте спать. Наверняка этому есть объяснение.

* * *

У старухи соседской, Марфы, желтые, как у кота, глаза, в уголках собрались капельки гноя. Кожа потемневшая, грубые руки и длинная юбка из мешковины, в подоле травинки запутались. Седые волосы убраны под темный платок, как у монашки. Стоять прямо ей было тяжело, и она все норовила найти поддержку у окружавшего ее пространства – то к стволу березы прислонится, то одну ногу поставит на ступеньку и навалится на нее всем весом.

Сейчас в это трудно поверить даже ей самой, а уж тем более тем, кто смотрит в эти глаза цвета болотного перегноя, в серое это лицо и въевшуюся в морщины пыль, но ведь и ей когда-то было семнадцать лет. И она была хороша. Ни одной фотографии не осталось. Был снимок, ее любимый, она его как святыню берегла, как свидетельство существования Бога. Черно-белая фотография дурного качества. Уже послевоенная, ей под тридцать было, когда снимали, но она долго оставалась девочкой, как будто бы время к ней не липло. А потом как-то за пару лет резко сдала, как будто бы небесные наблюдатели сначала о ней позабыли, а потом работали днями и ночами, выполняя план по ее состариванию, чтобы успеть к одним им ведомому сроку.

Была фотография да пропала – в пожаре сгинула, еще в девяностых.

Ничего от прошлого Марфы не осталось, только полустертые воспоминания, которые она гнала прочь, да без толку. Днем еще можно на что-то отвлечься – в деревне всегда много дел, а вот по ночам обрывки прошлого роились над нею как мухи надоедливые. Норовили ужалить, да побольнее.

Сейчас в это трудно поверить, но ведь когда-то и она была легкомысленной и веселой. Трудно поверить. Тем более людям, которые хоть раз встречались на ее пути, когда она была не в духе. А не в духе она была почти всегда. Этот взгляд из-под тяжелых надбровных дуг, это бормотанье, похожее на перекипающий густой бульон – и не разберешь ничего, но по интонации ясно, что это какое-то гнилое варево из бранных слов, в котором брезгливо вылавливаешь то «ирод окаянный», а то и даже «да чтоб ты сдох». А ведь была смешливой, открытой, губы сами в улыбке расплывались.

Ей было семнадцать лет, и у нее были две лучшие подружки-одногодки.

Самая яркая и смелая – Акси́нья, она всегда была главной, с самого детства так повелось. Считалось, что такие, как Акси́нья, век в девках сидят, потому что уж слишком строптивая, резкая, кому нужна такая жена? Ей еще десять лет было, а соседи уже говорили: этой в девках так и сидеть. Акси́нья это слышала и передергивала тощим смуглым плечиком:

– А мне ваши мужики и не нужны, и сама обойдусь!

Она была азартной и горячей – на спор могла прыгнуть хоть в прорубь, хоть в заросли крапивы. Нескладная, худенькая, похожая на паучка, коленки и локти торчат. Было им по шестнадцать, все девушки думали, как прихорошиться, луковой шелухой и крапивой волосы мыли, что-то там с нарядами придумывали, хотя что придумаешь в те годы, все были в бедности равны. Акси́нья же взяла и наскоро отрезала волосы портновскими ножницами, кое-как, коротко и криво. Стала похожа на мальчишку тифозного.

– А мне нравится! И удобно, а вы ходите себе русалками, было б для кого стараться!

Акси́нью можно было либо любить, либо ненавидеть.

Марфа – любила. И третья подруга, Женечка, любила тоже. Все остальные относились к девушке настороженно, как к чужаку. Люди не любят тех, кто им картину мира ломает.

В Аксинье была та особенная жажда жизни, которая притягивает как магнит. Побудешь с ней рядом пару часов, и начинает казаться, что все не так уж плохо. Даже если на самом деле все гаже некуда.

Третья подруга – самая красивая. Евгения, Женечка, цветочек, распустившийся среди болот. Непонятно, откуда такая и взялась, у нее была широкоплечая хмурая мать, минорная и сильная как ломовая лошадь, которая умела все на свете – и дров наколоть, и зайца подстрелить, освежевать и приготовить жаркое, и суп из лебеды и лесной мяты сварить, и шить, и прясть; только вот любить не умела. Отец ее и до войны любил приложиться к бутылке, а когда вернулся с фронта, с обрубками вместо ног и взглядом человека, которому больше ничего не страшно, но и ничего не нужно, запил пуще прежнего.

А у Женечки кожа белая, плечи полные и мягкие, губы как будто бы свекольным соком подведены, волосы пшеничные, она их ни разу в жизни не стригла, вот и отросла коса ниже пояса. И огромные серые глаза. Говорила Женечка тихо, да ей и не нужны были слова. Потому что она была как космос.

И вот в их семнадцатое лето, первое послевоенное лето, трудный серый год, Аксинья как-то сказала: мол, ждите меня ночью за старым сараем на краю деревни, встретимся там в полночь. Девчонки удивились: кто же гуляет по ночам, зачем. Да и родители не выпустят, потом позору будет. Но Аксинья и слышать ничего не желала: я буду ждать и точка. А не придете, пожалеете, потому что пропустите такое, что станет самым важным в вашей жизни.

«И в вашей смерти, – думала Марфа уже потом, через много лет, вспоминая тот день. – Самым важным в вашей жизни и в вашей смерти».

* * *

Соседка, старуха по имени Марфа – неожиданно прямая спина, неожиданно злые глаза для такого улыбчивого лица и такого молодого певучего голоса – оказалась из тех, кому не дает покоя чужое личное пространство. Чем меньше городок, тем больше таких людей – тех, которые закрытые двери воспринимают как нанесенную обиду. Люди-кошки.

Она явилась без четверти десять и застала семью новых соседей в прострации. Босая Рада в атласном халате, который смотрелся чужеродным элементом среди изъеденных древесными жучками стен, старых лавок, простенькой посуды со сколами. Всклокоченный Максим, не успевший побриться. Хмурая Яна, которая в глазах старухи наверняка была чем-то вроде чудища лесного – футболка с прорезями, наколки на руке, пирсинг и выражение лица – «если-будешь-смотреть-на-меня-слишком-долго-я-съем-твою-печень». На руках Рады сидел маленький Мишенька – единственный в семье он радовался новому дню, солнечным зайчикам и летающим жукам – и даже незваной гостье, Марфе, обрадовался. Потянул к ней пухлые ручонки, что-то закурлыкал на одном ему понятном языке.

– А где же второй ваш сынок? – прищурилась старуха.

– Саша у нас болеет. Он редко выходит из комнаты, – лаконично объяснила Рада. Сашенька был ее заветной территорией, которую она как пес цепной охраняла от посторонних глаз. И чужой страх, и чужое сочувствие казались ей оскорбительными.

Старуха нависла над столом, вероятно, ожидая приглашение присоединиться к завтраку. Рада просто отвернулась – это было некрасиво, но бессонная ночь и мрачные мысли на время сделали ее бесчувственной. Ну и инстинкт самосохранения отчасти – прикормишь такую сплетницу, потом покоя не даст.

Однако старухе было плевать на политес – потоптавшись с минуту, она просто уселась без приглашения на один из свободных стульев. И Рада была вынуждена подвинуть ей чашку, плеснуть туда чай и буркнуть:

– У нас вот тут пирожные, вы угощайтесь.

– Не стесняйтесь, – с ухмылкой добавила Яна.

Старуха не обиделась. Хотя глаза у нее были злые и умные, как у старого пса – наверняка поняла все. Но видимо, у ее визита была какая-то цель, которая казалась ей намного важнее сохранения чувства собственного достоинства.

Без удовольствия надкусив пирожное, старуха сразу перешла к делу:

– Я видела, вы вчера на улицу ходили, лес наш слушали.

– Вы тоже это слышали? – оживилась Яна. – Как будто бы дети над лесом плачут.

– А что, хозяйка дома разве не предупредила?

– Она все о болоте говорила, – неохотно сказала Рада, которой эта назойливая старуха не нравилась; от нее чувствовалась какая-то скрытая угроза, Рада даже не смогла бы объяснить, почему; что-то из области интуиции. – Говорила, что в лес ходить нельзя, болото страшное там.

– Это правда, – кивнула старуха. – О болоте нашем вся область знает. Местные и так туда не суются, а чужих предупреждают сразу. Тягучее болото, голодное. Ежели ступишь туда, считай пропал.

– Так откуда же в том лесу дети взялись? – не отставала Яна.

Старуха посмотрела на нее внимательно. «Непростая девочка какая», – подумалось ей. И сердце заняло тоскливо, чего с Марфой, очерстневшей с возрастом, почти никогда не случалось. Какой-то необъяснимый древний зов абсолютной тоски. Дочка соседей, Яна, вдруг совсем другую девушку ей напомнила – той, другой, уже давно не было в живых. Аксинья, лучшая подруга, та, что всю юность с нею провела. Внешне между ними не было ничего общего. Аксинья тощая, угловатая, с резкими птичьими чертами. Яна – плавная, рослая, как будто бы сонная немного. Но выражение лица, но взгляд...

– Нет в лесу никаких детей, – помолчав, ответила Марфа. – Неоткуда взяться им. Я же видела вас вчера в окно, видела ваши лица... Потому и решила зайти. Успокоить.

– Да, мы вчера расстроились, – признался Максим. – Признаться, я даже детство вспомнил. Я в детстве темноты боялся.

«Слизень какой-то, а не мужик, – подумала старуха. – Надо же, у такого слизня родилась такая непростая девочка».

Темнота пугает тех, кто горя настоящего не нюхал. Так всегда считала Марфа – и давным-давно, когда девочкой была, и через много лет, скукожившись и сгорбившись.

– Это лес наш так поет. Какая-то природная аномалия. К нам даже журналисты приезжали... Давно правда, уже лет двадцать прошло... Я всю жизнь в деревне этой, – зачем-то добавила она.

– Как лес может петь? Ветер что ли? – удивилась Яна. – Но я определенно слышала плач... Как будто младенцев много, крошечных совсем... Хором рыдали, а потом умолкли, как по команде.

– Ну вот видишь, – улыбнулась старуха. – Разве ж дети малые могут по команде плакать перестать? Где такое видано? В девяностые много газетенок расплодилось. Про НЛО все писали, про другие ереси. И к нам часто наведывались... Ученый даже какой-то приезжал. Ходил тут с умным видом, важничал. А потом его уж в низине за голень куснул, так он такую истерику устроил, как будто помирает... Вот и сказал – природная аномалия. Какие-то атмосферные потоки, шут их разберет. Ветры наши так воют. Так что вы внимание не обращайтесь и не бойтесь. Оно не каждую ночь случается, но... Случается.

– Ладно, – нехотя кивнула Рада, у которой после бессонных ночей всегда было дурное настроение.

А на улице деревенской в этот момент оживление странное началось. Грузовичок откуда-то приехал, все жители из домов своих высыпали. Какие-то люди незнакомые, все похожи на ярмарочных шутов. Мужики рослые, как богатыри, женщины в длинных льняных сарафанах.

– Что это? – удивилась Рада. – Ничего себе – тихая деревушка.

– Сегодня же суббота, – махнула рукой старуха, ковыряя вилкой недоеденное пирожное, к которому у нее, привыкшей питаться просто, не было никакого интереса. – Автолавка приехала. Яков такой верховодит там. Каждую неделю по деревням окрестным катаются. Дорого у них все, обнаглели совсем, но продукты хорошие.

– А почему они так странно одеты?

– Да ненормальные, – хмыкнула старуха. – Они в лесной деревне живут... Нет, не в *той* лесу, – перехватив удивленный взгляд хозяев, уточнила Марфа. – Без телевизоров живут. И даже, кажется, без света. Кто их разберет, к себе они никого не пускают.

– Эко-поселение что ли?

– Что-что? – прищурилась старуха.

– А, неважно.

У Рады была приятельница, которая несколько лет назад сошла с ума, продала московскую квартиру и в такое вот поселение жить ушла. Все как-то быстро получилось. И бесповоротно. Была обычная баба – чуть за сорок, сын в институте, какая-то работа в офисе, изредка какие-то любовники, пятничный двойной мохито в любимом пабе.

А потом она записалась в йога-клуб, познакомилась там с какими-то странными людьми, которые перед каждым приемом пищи сто восемь раз пропевали «Ом», даже зимой ходили во вьетнамках и питались только овощами и фруктами.

Женщина вдохновилась, исхудала, научилась садиться в позу лотоса, накупила три кило душещипательной литературы сомнительного происхождения, и вот однажды позвонила Раде, чтобы сообщить: теперь ее зовут не Марина, а Гея, и она навсегда уезжает в леса. Рада думала – схлынет с нее дурь, опомнится, вернется к привычной жизни. Но нет – прошло несколько лет, а Марина-Гея так и жила в простой избе, в компании новых друзей.

От скуки выбрались на улицу поглазеть. Водитель грузовика, загорелый улыбчивый мужчина с пышной пшеничной бородой, которая доходила почти до его талии, сразу обратил на них внимание.

– Что-то раньше не видал я вас... Попробуйте медку нашего, у меня своя пасека. Лесной мед, такого нигде больше нет, – и сунул им пластиковую ложечку.

Мед и правда был волшебный – тягучий, с едва заметной горчинкой. Набор продуктов в автолавке был интересный – сушеная клюква, связанные в пышные веники травы, домотканые скатерти с вышитыми петухами. Почти никто из деревенских ничего не покупал – все относились к автолавке скорее как к развлечению и поводу повстречаться с соседями. Рада купила мед и варенье из бузины, а в довесок хитроглазый мужчина подарил ей веник сушеного зверобоя и сказал, что если каждый день добавлять его в чай, с простудами можно попрощаться навсегда.

Когда-то, давным-давно

А в то лето, которое большинство жителей деревни уже стерло из памяти за давностью лет, Аксиныя объявила подругам:

– Я вас буду, милые мои, колдовству учить.

Те только рты пооткрывали. С детства Аксиныя обеими верховодила – она всегда придумывала игру, остальные же только подчинялись.

– Не заигралась ли ты? – удивилась Марфа. – Что значит – колдовству учить будешь?

– Буду говорить, что надо делать, чтобы Силу почувствовать, – нагло глядя ей в глаза, объявила подруга.

Тихая Женечка слушала молча, но с интересом – она была романтичной, не от мира сего. Любила страшные сказки и каждый раз звала подруг гадать в Сочельник – когда-то, до войны еще, бабка ее научила, что надо делать, чтобы имя будущего мужа узнать. Подруги относились к затее как к забавной игре, одна Женечка всерьез все принимала. Напряженно вытянув шею, высматривала: сколько зернышек склевал черный петух, через сколько лет ей суждено стать женою, сколько деток она принесет? Какую форму принял воск, застывший к ковшике с колодезной водой? Марфа-то была попроще, поближе к земле.

– А сама-то ты откуда знаешь про... Как ты это сказала? Силу?

– А я в лес хожу, – буднично ответила Акси́нья, кивнув в сторону того самого леса, о котором родители с малолетства им говорили – даже близко не подходить.

– Акси́нья... Как же можно? – ужаснулась Женечка. – Там ведь болото, ты погибнуть могла!

– Но я ведь живая, сама погляди, – подбоченилась подруга. Ей нравилось удивлять. – Есть там тропка одна... Коли надо будет, покажу вам потом. А Силу положено на перекрестке лесном кликать. Вот там я и была.

– И ты хочешь, чтобы мы пошли с тобой? В болото? – По лицу Марфы было ясно, что никуда она не пойдет, здравый смысл был в ней намного сильнее романтических настроений.

– Вот еще! – фыркнула Акси́нья. – Я туда не сразу попала. Лес не каждую примет, и перекресток не каждой откроет свой секрет. Я до того... пробовала кое-что. Так, по мелочи. Вот и вам рассказать хочу. Вы же мои подруги. Всех других в нашей деревне я просто ненавижу.

– Что же нам делать надо? – У Женечки глаза загорелись. – Давай прямо сейчас, а?

– Нет уж. Приходите ночью к лесу... Да не бойтесь, там болото не сразу начинается, что ж вы как дети малые. Туда не ходит никто. Важно, чтобы нас никто не видел. Там есть опушка одна, на ней и будем встречаться.

Марфе ничего не стоило уйти из дома в ночь – горе вдовства и бедности разъело ее мать изнутри, сделало равнодушной. Жива дочь – и ладно. А куда ходит, с кем дружбу водит, почему вдруг скрипнула ее дверь позже полуночи – какая разница.

Еще два года назад, когда голос ее не потерял сока жизни, она бы, может быть, и крикнула бы в удаляющуюся спину, которую на глазах растворял серый туман: «Вернись сейчас же! Или не возвращайся вообще! В подоле принесешь – из дома выгоню!» А сейчас... Мужчин в округе почти не осталось, доля дочери будет еще горше ее собственной, не познать ей ни волнения встречи, ни торжества вечного прощания. А если встретит кого – пусть так, торопливо, за занавеской тумана, так и хорошо. Лучше чем ничего. И если ребеночек появится – это тоже лучше, чем ничего. Возможно, так ее мать думала, сидя бессонной тенью у окна и бездумно глядя на то, как ночь обглаживает знакомый двор, превращает его в набор смутных очертаний.

Холодная была ночь, как будто бы уже осень. Марфа шла огородами, торопилась. Не хотелось, чтобы соседи ее заметили. Хотя за последние два года обстановка в деревне изменилась. Близость смерти, очередные похоронные письма, которые привозила почтальонша на бренькающем велосипеде, голод, безнадёга – все это превратило любопытство к чужой жизни в ненужную роскошь. Самые яростные сплетники были заняты оплакиванием родных. Или страхом за тех, о чьей судьбе пока ничего известно не было. Или ожиданием тех, кто может быть, однажды дойдет до дома – дни идут, надежда становится бесплотной, но чудеса же случаются.

Акси́нья уже ждала. Желтоватые глаза, замызганное светлое платье, почему-то босые ноги, перепачканные в земле, волосы кое-как приглажены рукой. Марфа взглянула и вдруг подумала: а вдруг она сошла с ума. Если кто-то сходит с ума на твоих глазах, это незаметно. Человек как будто бы подает тебе руку и потихонечку, с нежностью проводника, утягивает тебя в темный лес своего безумия.

Марфе такое видеть приходилось. Она еще девочкой была, десятый год шел ей, когда ныне покойная материна сестра однажды потрепала ее по макушке, дала какую-то карамельку

и сказала: «Хочешь, мертвеца покажу? Пойдем, девочка!» Марфа очень испугалась. За год до того в деревенском пруду утонул их сосед, одинокий, пьющий и тихий, его два дня никто не искал. Потом спохватились и почти сразу же обнаружили – болтался на воде, среди кувшинок, вниз лицом.

Пруд заброшенный, заросший, почти никто к нему и не ходил, вот сразу и не заметили. Марфа была там, на берегу, когда доставали его. Перевернули, она взглянула в лицо – как будто бы кукла из старого ватника пошитая. Раздувшиеся бело-синеватые щеки, веки почерневшие, какие-то бугры на лбу, одну губу караси объели. Ей не хотелось видеть мертвецов, и она попятилась, а тетка вдруг расхохоталась – мелодично и беспечно. «Глупая, я же не тело имею в виду. Идем, не пожалеешь!»

И Марфа пошла за ней. Тетка как будто бы торопилась, шла через поле, приподняв юбки, а Марфа едва поспевала, и высокая трава хлестала ее по лицу. Наконец пришли к речке – это был один из змеящихся к Волге ручейков с прохладной прозрачной водой и россыпью «чертовых пальцев» в прибрежном песке. Тетка привела ее на «пляж» – крошечный пятачок влажного речного песка. И никого там не было, но она почему-то торжествующе воскликнула:

– Вот!

– Что – вот? – удивилась девочка.

– Ты не видишь? Не чувствуешь его? – Тетка приблизилась к ней вплотную, из ее рта густо пахло чесноком. – Мертвец на песке сидит и на нас смотрит.

– Прекратите это, – заныла Марфа. – Страшно мне. Домой я хочу.

– Бояться живых надо! – строго сказала та. – Ну же... Прикоснись к нему, почувствуй...

Марфа пыталась вывернуть руку из цепких теткин пальцев, но та держала так крепко, что потом на коже остались синяки. Она провела рукой девочки по воздуху, и Марфе показалось, что она чувствует нездешний холод, что кто-то невидимый смотрит на нее, и от того холодно, как будто бы упала в сугроб.

– Отпустите меня!

– Ну же, поговори с ним, – шипела тетка ей в лицо, – грустно ему... Если прекратишь голосить, ты его услышишь...

Еще неделю назад эта же самая тетка угощала ее чаем с баранками и вареньем из лесной земляники, и это был обычный тихий летний вечер, и Марфа рассказывала о том, как она вырастет и найдет клад, а тетка смеялась, умиляясь. И вот теперь – эти пустые провалившиеся глаза, безумный шепот.

– Поговори с ним, и он к тебе ночью придет... Ко мне такой ночью ходит, – она кокетливо хихикнула, прикрыв ладошкой рот. – Мертвенькие все верные... Он уже однажды умер и никогда больше тебя не оставит... Даже если сама захочешь, уже не даст тебе уйти...

Еще через неделю тетка та куда-то из деревни пропала. Марфа у матери спрашивала – та только что-то невнятное говорила – мол, в больницу ее увезли, вернется скоро. Но больше им так и не суждено было встретиться.

Аксинья ждала, где условились. Только это была не совсем Аксинья. Как будто бы разум ее покинул, и стала она бесноватая – Марфа даже попятилась, взглядом с ней встретившись.

Аксинья стояла на четвереньках, спина выгнута, шея напряжена так, что вены вздулись, но самое страшное – ее глаза, глаза безумицы, огромные злые глаза. За последние недели она совсем исхудала, и платья болтались на ее плечах, как будто бы под ними вовсе не было плоти. Но почему-то за этим истощением не ощущалось ни слабости, ни нежного соседства смерти – она была как тощий дворовый кот за секунду до атаки. Марфа попятилась: «Аксинья... Ну что ты, что ты... Не пугай меня так...»

Они встретились на лесной поляне, как обычно. Женечка то ли опаздывала, то ли снова была заперта отцом в хлеву. Сложный характер был у ее отца – и поколачивал дочку, и накричать мог, и запереть. Та все безропотно терпела.

Марфе было не по себе, она впервые пожалела, что пришла. Она и раньше не верила Аксиные, но эти встречи на сумеречной лесной поляне были намного лучше всего остального. Все остальное – вязкая глина под ногами, притихшие соседи, сосущий голод и сны, в которых она пила горячий чай с сахаром вприкуску. А тут – сказка, пусть темная, мрачная, с чудищами, в холодном лесу, но сказка все-таки.

И впервые Марфа подумала – нет, не заигралась Аксиныя, с ума сошла.

Многие вокруг потеряли ось. Одна женщина, схоронившая мужа и двоих сыновей, днем вела себя как обычно и даже улыбалась, если встречалась с кем-то взглядом, столкнувшись у колодца, а ночами из ее дома раздавался вой. Не плач, а именно вой – монотонный, то взбешивающийся по диапазону ее голосовых связок вверх, то переходящий в басовитое рычание. Это могло продолжаться часами.

Еще была одна, все ходила и бубнила себе под нос, никто не прислушивался. А Марфа однажды мимо шла и разобрала отдельные слова: «...Шею вскрываю ему, серпом старым, и кровь струей... Откуда в таком маленьком столько крови... В глаз попала струя, щипало потом весь день... Он же такой был маленький, откуда, откуда...» Это была совсем одинокая женщина – ни людей в доме, ни животных в хлеву – убивать серпом ей было некого, но у Марфы руки ослабли и заledenели, точно отнялись. Она потом все стороной дом тот обходила.

А отец Женечки однажды выпил какой-то домашней бормотухи, а потом катался в пыли и орал, что ноги болят, болят так, что сил терпеть нет – а ног-то и не было у него...

Марфа попятилась.

Аксиныя смотрела на нее снизу вверх, в упор, ничего не выражающими желтыми глазами. Рот ее скривился, верхняя губа поднялась, обнажив почерневшие от вечного недоедания зубы. В следующую секунду она одним ловким прыжком преодолела расстояние, их разделявшее – на четвереньках, распрямляясь, как животное.

Марфа зажмурилась и перекрестилась – кажется, впервые в жизни. Машинальный жест – так делала ее мать, когда нервничала; сама же Марфа материалистом, вроде бы, не была, но рожденная уже после революции, относилась ко всему церковному с равнодушным любопытством путешественника, который видит из окна поезда незнакомый пейзаж и скользит по нему взглядом. Все эти бормочущие бабки, кресты на могилах, гулкие колокола, телесно-животные нотки в густом запахе ладана – все это было, вроде бы, и рядом, но не про нее.

У Марфы с детства было живое, легко воспаляющееся воображение – она уже, кажется, чувствовала зубы, рвущие ее горло, но вдруг Аксиныя рассмеялась, и это был привычный, знакомый, без нотки безумия смех.

– Вот ты трусишка. Никогда бы не подумала.

Марфа осторожно открыла глаза. Подруга стояла рядом и насмешливо ее рассматривала, в ее желтоватых глазах больше не было этой страшной пустоты.

– Что же ты? – пролепетала Марфа. Колени ее стали слабыми, и она осторожно опустилась на поваленный ствол березы. Аксиныя присела рядом.

– Я была волком, – серьезно сказала она. – И тебе придется научиться тоже. Если ты с нами, если ты от нас.

Марфа вздохнула – из ее рта вырвалась струйка беловатого пара. Дыхание сентября – еще зелено, но по ночам ледяная сырость так и норовит сквозь кожу в самую душу пробраться. Хотелось плакать.

– Аксиныя... Передохнуть бы тебе. Скажи отцу своему. Пусть врача позовут, работой тебя не грузят.

– Вот дура! Думаешь, что я сошла с ума. А ведь это первое дело в ремесле нашем – в волка уметь обратиться.

– Аксиныя, ты – не волк. Ты – девушка, которая стоит на карачках и страшно рычит.

– Попробуй. Давай вместе, – угрюмо твердила Акси́нья, и Марфа как наяву видела свою тетку, шипящую в лицо о том, как водить дружбу с мертвецами.

– Один раз. Только один. Сделай это, и если не почувствуешь, в чем Сила, я больше никогда не трону тебя... Мы знакомы почти восемнадцать лет, с рождения самого. Я только пять минут у тебя прошу.

– Ну ладно...

Марфу с детства мягкой считали. Она знала, что это не совсем так. Скорее, она была как река – ей было проще ускользнуть, утечь от ответа, чем спорить и ссориться. Акси́нья – та даже в драку в детстве лезла с удовольствием. Все мальчишки деревенские ее боялись – отчаянная была. Силенок мало, но характер! Она билась так, словно от этого жизнь ее зависела, даже если ссора пустяковая была. Могла и камнем в лицо кинуть, и за волосы взять да головой в реку окунуть. «Бешеная, – говорили о ней, – Какому же дураку несчастному такая в жены достанется».

– Вставай со мною рядом, – уже вовсю командовала подруга. – Да не бойся ты платье испачкать! Тут такое творится, а она юбки подбирает, стыдоба.

– Акси́нья... А если увидит нас кто? Вот позор...

– Не увидит. Сама знаешь, что к этому лесу никто из наших не суется. Давай, ты делай, что я говорю.

Со вздохом Марфа опустилась на землю. Взрослые девушки, которые зачем-то затеяли странную мрачную игру. Акси́нья встала рядом.

– Теперь почувствуй свое тело... Оно само подскажет, как быть... Ты ведь волка сто раз видела. Вот и веди себя как волк. Пусть холка твоя станет твердой, пусть запахи лесные в нос твой ворвутся. Смотри внимательно – вокруг тебя много опасностей. А вдруг охотник с ружьем? А вдруг капкан? Но и еды вокруг тебя много... Все, что движется – все это твоя еда, все твое по праву. Ты чувствуешь чужую кровь...

– Ужасы ты какие говоришь, Акси́нья, – прошептала Марфа. Не по себе ей было, мурашки колючие по спине волной прошли.

Но Акси́нья ее не слушала. Ее бормотанье было похоже на заклинание колдовское. Как будто бы она заговорить подругу пыталась.

– Сердце чужое бьется, кровь чужую толкает, кровь чужая по венам гуляет, и тебя к себе зовет... Небо темнеет, скоро твоя пора. Ночь тебе принадлежит, и весь лес этот – он тоже твой. Ты здесь родилась, здесь и умрешь однажды. Но это еще нескоро. Ты ведь волк, а волки не умеют о смерти думать заранее. Волки думают только о голоде.

Марфа напрягла плечи, опустила голову. Слова подруги действовали на нее завораживающе. Как будто бы она сказку страшную слушала, цепenea от близости чего-то такого, чего люди обычно сторонятся. И тело ее странно отзывалось на звуки этого глухого голоса. Тело как будто бы перестало Марфе подчиняться.

Она напружинила руки – это было приятно, как будто бы разминка после долгой неподвижности. Вдруг захотелось побежать вперед, по холодной мокрой траве, долго бежать, и чтобы Акси́нья бежала рядом. Ловить взглядом серые тени, мелькающие между деревьев – а что если заяц? а что если олень? – нестись на дурманящий зов чужой крови. А потом – прыжок, всей мускулистой мощью молодого тела, передними лапами придавить жертву к земле, зубами сразу вырвать из ее горла кусок плоти, уткнуться мордой в пульсирующее и горячее, рвать плоть, постепенно насыщаясь, а потом снова бежать между деревьями, под луной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.